



## Ф. И. БУСЛАЕВ

### Мои воспоминания

<фрагмент>

<...> Оба наши милые товарищи, Александр Николаевич и Василий Иванович, были славянофилы. Они ввели меня в этот интересный, высокообразованный кружок тогдашнего московского общества. Благодаря им я познакомился с Алексеем Степановичем Хомяковым, Константином Сергеевичем Аксаковым, с Киреевскими, Свербеевыми, Васильчиковыми, с поэтом Языковым и его племянником Валуевым, который приходился также племянником и Хомякову, женатому на сестре Языкова. К этому же кружку принадлежали мои милые профессора Погодин и Шевырев, хотя не в одинаковой степени разделяли его убеждения, первый — меньше, второй — вполне, а также и незабвенный товарищ по университету Юрий Федорович Самарин. Какими-то судьбами сюда же примкнулся самый равнодушнейший ко всевозможным партиям и сектам дорогой мой товарищ по студенческому общежитию, бесподобный чудак Катан Андреевич Коссович — надобно думать потому, что давал уроки классических языков племяннику Хомякова Валуеву и был несказанно осчастливлен тем, что Хомяков подарил ему очень дорогой санскритский словарь Вильсона, напечатанный в Калькутте.

Говорить вообще о славянофильстве я, разумеется, не буду. Оно давно уже заняло надлежащее себе место в истории умственного, нравственного и политического развития русской жизни. Когда очутишься в среде самого движения, не оглянешь всей толпы, а сталкиваешься лишь с отдельными лицами. На мое счастье, это были люди передовые тогдашнего общественного движения. Но и об историческом значении их говорить нечего; оно более или менее всем известно. Расскажу вам только о моих личных сношениях с некоторыми из них.

Будучи равнодушен к их славянофильским убеждениям и идеям, я высоко ценил их нравственные достоинства, безукоризненную чистоту их помыслов, гордую независимость духа, соединенную с милым простодушием, иногда доходящим до детской наивности. Я любил их сердечно и вместе уважал глубоко, как недостижимые для меня образцы высшего совершенства, какое человеку доступно. Таковы были для меня Константин Сергеевич Аксаков и Петр Васильевич Киреевский. Тут же к ним прибавлю еще двоих, но из другой, не славянофильской среды, моих незабвенных товарищей, профессоров Сергея Дмитриевича Шестакова и Тимофея Николаевича Грановского.

Киреевский жил на Остоженке, по левую руку, если идти от Пречистенских Ворот, в своем собственном доме близ церкви Воскресенья. Дом был каменный, двухэтажный, старинный, с железной наружной дверью и с железными решетками у окон нижнего этажа, как есть крепость. Уцелев в таком виде от московского пожара 1812 года, он стоял в тенистом саду, заброшенном, без дорожек. На улицу выходила эта усадьба только сплошным забором с воротами. Кажется, дом этот существует и теперь, но уже в обновленном виде. Петр Васильевич занимал верхний этаж и жил, сколько мне известно, один-одинехонек; женат он не был. Большая комната из передней, вроде залы, была и приемной для гостей, и рабочим для него кабинетом, с неровным, щелистым и протоптанным полом. Мебели всего было — ветхий диван у глухой стены, придвинутый к окну, а против него у другого окна большая деревянная коробка, запечатая всяческим замком; у стены против окон дубовый шкаф с книгами; у дивана большой четырехугольный стол и вдобавок ко всему до полдюжины разнокалиберных стульев и кресел.

Меня очень интересовала эта бабья коробка под замком, и когда я ближе познакомился с Петром Васильевичем, решил удовлетворить своему любопытству и спросил его, какое сокровище хранить он так бережно взаперти и всегда перед своими глазами. «Так я вам не говорил? — сказал он в ответ. — А здесь хранятся народные песни, былины и духовные стихи, которые много лет я собирал повсюду, где случалось бывать. Между ними много и таких песен, которые записаны моими друзьями и знакомыми. Вот эту пачку дал мне сам Пушкин и при этом сказал: «Когда-нибудь ее от нечего делать разберите-ка, которые поет народ и которые смастерил я сам». И сколько ни старался я разгадать эту загадку, — продолжал Киреевский, — никак не мог сладить. Когда это мое собрание будет напечатано, песни Пушкина пойдут за народные».

По различию в наклонностях и занятиях московские славянофилы делили свои ученые интересы по специальностям с особым представителем для каждой. Хомяков взял себе всеобщую историю и богословие; он был великий диалектик и отличался бойкостью и силою доводов в диспутах с раскольниками, которые его очень уважали. Иван Васильевич Киреевский был философ; энергичность его философских взглядов оценила сама цензура строгими запрещениями. Юрий Федорович Самарин блистательно заявил свою специальность в образцовых работах о государственном, политическом и экономическом строе русской земли с ее окраинами. Ученою специальностью Константина Сергеевича Аксакова был русский язык и его грамматика, которой он хотел дать своеобразный вид соответственно неисчерпаемой глубине народного духа. Степан Петрович Шевырев в своих публичных лекциях был для славянофилов представителем по истории русской литературы.

На долю Петра Васильевича Киреевского, кроме народной поэзии, выпала русская история, которую в течение всей своей жизни он усердно занимался, но, сколько мне известно, очень немногое успел напечатать. В этом деле он вполне удовлетворял славянофилов, потому что не жаловал Петра Великого. Только в этом смысле и могла годиться для них история русского народа. Представьте себе, какая злополучная судьба постигла этого благодушного врага преобразований, совершенных Петром Великим! Киреевский никогда не мог примириться с тяжелою, досадливою мыслью, зачем нарекли также и его при крещении Петром, а не каким-нибудь другим именем. И он не на шутку горевал, как Тристрам Шенди<sup>1</sup>, отец которого столько же ненавидел это имя, как если бы назвали его сына Иудую в честь предателя Искарюта.

Значение Константина Сергеевича Аксакова в среде московских славянофилов далеко не ограничивалось специальными пределами русской грамматики. Он был вдохновенный оратор и рьяный поборник эмансипаций в тяжелые времена сурового режима. Нравом был он столько же кроток и незлобив, как Петр Васильевич Киреевский, но отличался от него неукротимою пылкостью, которая дает великую силу страстно любить друзей и презрительно ненавидеть врагов. Вместе с тем был он так благодушен и сострадателен, что не только человека, и мухи не обидит. Врагами его были не сами люди, а их принципы, помыслы и дела. Я уверен, что для воплощения своих идей он не задумался бы принести себя в жертву и радостно пошел бы на любое место, чтобы, сгорая на костре, предъявить миру свое

исповедание, как христианские мученики времен Нерона. Он мог достигнуть такого нравственного совершенства в своем незлобии к вражеским силам, потому что был чист и невменяем, как младенец. Недаром товарищи и друзья называли его не Константином Сергеевичем, а ласкательно, как малого ребенка: «Кѳнста».

В то время я безусловно предпочитал славянофильское общество западникам, которые, впрочем, и не составляли тогда такого замкнутого кружка и множились врассыпную. Да они и мало были мне известны. Многие из них стали знамениты уже впоследствии. В начале сороковых годов Тургенев не думал, не гадал, что судьба решила быть ему великим писателем и после Пушкина первым мастером русского слова. Станкевич в 1840 году умер в Италии и унес с собою все надежды и упования, который на него возлагались. Белинский еще не успел заявить тогда гениальных способностей критика, который насквозь был проникнут врожденным ему эстетическим вкусом и тонким чутьем отгадывать на первых порах только что зачинающееся литературное дарование.

Впрочем, московские славянофилы были не так брезгливы, чтобы не допускать в свой интимный кружок кое-кого из западников. Они дружески и доверчиво относились к Тимофею Николаевичу Грановскому, к Герцену, даже к Чаадаеву, которого величали католическим аббатиком. Двух последних я впервые увидел на вечере в одном славянофильском семействе. Это было — как сейчас вижу — в угольной комнате, довольно просторной, с двумя окнами на улицу и с одной дверью в гостиную. У глухой стены против двери на диване с двумя или тремя дамами сидела молодая и красивая хозяйка и курила сигару, — папиросы тогда еще не вошли в общее употребление. Ее муж переходил из одной комнаты в другую, занимая одиноких гостей или прислушиваясь к беседам говорящих между собой. Против хозяйки от двери к заднему углу у стены был тоже диван; на диване сидят рядышком Чаадаев с Хомяковым и горячо о чем-то между собою рассуждают; первый в спокойной позе, а другой вертится из стороны в сторону и дополняет свою скороговорку жестами обеих рук. Для Алексея Степановича Хомякова разговаривать значило вести диспут. В этом деле он был неукротимый боец; свои состязания ловко и задорливо умел тянуть до бесконечности. Когда же противник начинал с ним соглашаться, он придерется к какому-нибудь его словечку или обмолвке, бросится в сторону и является перед ним с новым запасом вооружения, дает другой оборот спору и другую обста-

новку и повторяет такую атаку до тех пор, пока тот не выбьется из сил.

У окна в углу, близ дивана с дамами, в кресле сидел неизвестный мне господин, лет тридцати, среднего роста, плотного сложения, с коротко остриженными волосами; круглое и полное лицо без бакенбард и усов, в темно-синем фраке с металлическими, позолоченными пуговицами, гладкими, без гербов. Он был спокоен и медлителен в движениях и разговорчив, лишь изредка перемолвится с хозяйкой или даст короткий ответ престарелому Александру Ивановичу Тургеневу, который, наклонив голову и сложив руки за спиною, шагал взад и вперед по комнате и, останавливаясь там и сям, прислушивался к говорящим. Легкий гул оживленной беседы время от времени покрывался зычными возгласами Константина Сергеевича Аксакова, который пылко ораторствовал в соседней комнате. Меня очень заинтересовал господин в синем фраке с позолоченными пуговицами. Как и зачем попал сюда, думалось мне, этот петербургский чиновник, такой приформленный и этикетный? К моему крайнему удивлению, мне сказали, что это Герцен. Он только что воротился из Вятки, куда был сослан.

Обстоятельства так счастливо для меня сложились, что в течение нескольких месяцев мне привелось раза по два и по три в неделю видаться с Иваном Васильевичем Киреевским, коротко с ним сблизиться и сердечно полюбить его. Нам удобно было заходить друг к другу, потому что мы жили в соседстве: я на Знаменке у графа, а он в одном из переулков между этой улицей и площадью храма Спасителя. Это было в конце зимы и в начале весны 1845 года. На это время Погодин уезжал куда-то из Москвы, и за него издавал «Москвитянина» Киреевский, а в помощь себе и в сотрудничество пригласил меня. Я работал у него для библиографии и критики; под мелкими статьями своего имени не подписывал, за исключением одной, которую означил инициалами, о чем скажу вам сейчас. Из библиографических отзывов помнятся мне теперь только два. Один был серьезного тона и вполне одобрительный, о книге графа Сперанского, содержащей в себе лекции о красноречии, которые читал он, еще будучи молодым профессором Духовной академии<sup>2</sup>. Другой отзыв о каком-то ученом сочинении Греча по литературе и по русскому языку я покусился настроичить в занозливом балагурном стиле барона Брамбеуса и «Северной пчелы», с разными глумливыми подковырками, а под статью с мальчишескою замашкою подписал Ф. Б.: пускай, дескать, читатели подумают и

обрадуются, что Фаддей Булгарин поссорился наконец с своим закадычным другом Гречем и печатно обругал его<sup>3</sup>.

Из крупных рецензий поместил я тогда в «Москвитяине» всего две. Одна была об издании «Слова о полку Игореве» с обширными примечаниями Дубенского<sup>4</sup>. На основании строгого филологического метода братьев Гриммов я довольно жестко нападал на толкования издателя и предлагал свои, которые давали тексту новый смысл, более значительный и жизненный, соответственно старинному быту, преданиям и народной поэзии. В другой я критически разобрал главу о местоимениях из общей или философской грамматики, которую составлял тогда для Академии наук Иван Иванович Давыдов<sup>5</sup>. Будучи вооружен достаточными сведениями по сравнительной грамматике Боппа<sup>6</sup> и по истории русского и других славянских наречий, я легко открыл в этой статье значительные промахи. Этим, конечно, я не оскорбил бы своего наставника и профессора, которому был во многом обязан, если бы выразился спокойно и прилично, а не запальчиво и насмешливо. Сверх того угораздило меня задать его личность довольно прозрачными намеками, которые кое-где я вставил в виде примеров, как употребляются местоимения синтаксически в целом предложении. Цензор не заметил этих непристойных выходов и пропустил статью целиком; когда же были они обнаружены и подхвачены злословием, Иван Иванович не на шутку рассердился и обзывал меня молодкососом и нахалом; впрочем, к великой моей радости, впоследствии смилостивился ко мне, как вы увидите из его переписки со мной, о которой будет сказано в своем месте.

Итак, в среде московских славянофилов я узнал и полюбил бесподобных людей, а не их славянофильство. Мне и в голову не приходило задаваться мыслью, в чем и как отличает себя эта партия от западников. Это меня несколько не интересовало. Потому и о себе самом я не мог догадываться, кто я таков, славянофил или западник. На этот вопрос натолкнул меня один случай, который живо выступает в моей памяти.

Это было в Кунцеве, где каждое лето проводил граф со своим семейством до конца пятидесятых годов, когда возвратился он из Москвы в Петербург. Дач было тогда в Кунцеве наперечет, около полдюжины. Граф и графиня с детьми помещались в большом двухэтажном доме, где теперь живет летом владелец усадьбы Солдатенков; мне отведены были две комнаты в каменном флигели, направо от дома. Другой такой же флигель насупротив этого, а также и по обеим сторонам два одноэтажных дома отдавались внаймы другим дачникам. Кроме того, было

еще три дачи: одна в саду, переделанная из бани, так и слыла «банею»; другая за липовой рощей называлась «Гусарево» и третья на дороге к Проклятому Месту — «Монастырка», получившая это прозвище от того, что здесь когда-то жила княгиня Голицына, выбывшая из монастыря. На этом месте теперь одна из дач Солодовникова. Утрамбованных широких дорожек по ту сторону тогда не было, и мы пробирались по узенькой тропинке, протоптанной по обрыву вдоль крутых берегов Москвы-реки мужиками и бабами из Крылатского и Татарова. Чтобы отдохнуть, бывало, присядешь на гладкое местечко той тропинки, а ноги спустишь в обрыв, перед бесподобною панорамой, расстилающейся далеко внизу по ту сторону реки; налево Хорошово с садами и огородами, а направо — широкая равнина на несколько верст вплоть до горизонта, по которому тянутся длинною полосой дачи Петровского парка с царским дворцом. Привольно было тогда разгуливать по Кунцеву. Повсюду тишь и гладь да божья благо дать. Не то, что теперь.

Однажды на закате солнца пришли ко мне Дмитрий Львович Крюков, который жил тогда близ Кунцева в Давыдове, и гостивший у него Тимофей Николаевич Грановский. Они хотели захватить меня с собой на прогулку. Кроме того, у Крюкова была и другая цель. Он работал тогда над переводом Тацитовых «Аннал» и для выработки своего слога усердно изучал памятники русской литературы старинной и народной. Чтобы взять у меня кое-что по этому предмету, оба они принялись пересматривать мои книги, расставленные на полках, и немало дивились разнообразному их содержанию. Тут стояли рядом: «Иоанн Экзарх Болгарский» Калайдовича и «Немецкая Мифология» Якова Гримма, «Остромирово Евангелие» и Библия на готском языке в переводе Ульфилы, памятники русской литературы XII столетия и сравнительная грамматика Боппа с его же санскритским словарем, «Суд Любуши» и отрывки древнечешского перевода Евангелия, изданные вместе в одной книге Шафариком и Палацким, а рядом «Дорийцы» Отфрида Миллера, русские былины и песни Кириши Данилова, Краледворская рукопись и чешские «Старо-былые Складанья» (т. е. стихотворенья) в изданиях Ганки, сербские песни Вука Караджича, вперемежку с томами «Божественной Комедии» Данта, которая всегда была при мне неотлучно, и Сервантесов «Дон-Кихот», на чтении которого я учился тогда испанскому языку, и многое другое, чего теперь не припомню; но названные книги, без всякого сомнения, находились тогда в моем кунцевском кабинете, потому что настоя-

тельно были мне нужны для моих ученых работ, предпринятых именно в то самое время.

Крюков и Грановский полагали меня настоящим славянофилом и теперь приходили в недоумение при виде такой разнокалиберной смеси моих ученых интересов, которые широко и далеко выступали из узких пределов славянофильской программы. «Что же вы такое? — спрашивали они меня, — славянофил или западник?» — «Да и сам не разберу», — им отвечал я. Именно с этих пор стал занимать меня этот вопрос, но насколько не беспокоить, потому что я не придавал ему большого значения. Теперь не могу припомнить, скоро ли сложилось мое убеждение по этому предмету, но в главных пунктах было оно, кажется, вот какое.

Несмотря на мою любовь к Италии и на благоговение к ученым трудам Якова Гримма, назвать себя западником я решительно не мог, по крайней мере в том смысле, как это прозвище прилагается к Чаадаеву или к Белинскому. Не стану же я, думалось мне, вместе с Чаадаевым поклоняться Римскому Папе и в качестве московского аббата прислуживать ему за обедней, хотя бы даже и в Сикстинской капелле: я давно знал, что не боги обжигают такие скудельные горшки; не стану вместе с ним же позорить Византию, потому что знаю высокое ее призвание в средневековой истории просвещения не только в России, но и в остальной Европе, потому что восхищаюсь великими произведениями византийского художества, базиликами времен Юстиниана в Равенне, Палатинскую капеллю в Палермо, собором апостола Марка в Венеции и так далее до бесконечности. Я не презирал вместе с Белинским «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой», как он сам выразился о «Трех портретах» Тургенева<sup>7</sup>; напротив того, я посвящал себя на прилежное изучение именно русских преданий и их глубокой старины; я не глумился и не издевался вместе с Белинским над нашими богатырскими былинами и песнями, а относился к ним с таким же уважением, как к поэмам Гомера или к скандинавской «Эдде». После всего этого, думалось мне, — какой же я западник.

Постольку же не мог я назвать себя и славянофилом. Не меньше Константина Сергеевича Аксакова я любил русский язык, но изучал его не по методу мечтательных умозрений заодно с ним, а всегда пользовался точным микроскопическим анализом сравнительной и исторической грамматики. В наших преданиях, в стародавних обычаях, в былинах, песнях и сказках славянофилы видели заветные тайники народных сокровищ доморо-

щенной мудрости, равных которым по их глубине не было и нет во всем мире; для меня же все это служило интересным и ценным материалом, к которому я старательно подбирал сходные, а иногда и почти одинаковые факты из других народностей, преимущественно из родственных по происхождению, т. е. индоевропейских. Славянофилы восхищались образцовым строем русской семьи, русской общины и земщины, русским третейским судом и другими особенностями так называемого обычного права. Мне гораздо интереснее было анализировать только терминологию семейных отношений, именно самые слова: отец, мать, сын, дочь, брат, сестра, свекровь, сноха, и на основании законов сравнительной грамматики возводить их к санскритскому языку для очевидного доказательства, что наши предки в незапамятные времена вместе с собою вынесли из своей азиатской прародины уже вполне благоустроенную семью. По географической карте Шафарика и московские славянофилы, увлеченные панславизмом, мечтали об изгнании немцев из Австрии, чтобы совокупить чехов, лужичан, словаков, сербов, поляков и других их соплеменников в одно великое панславянское государство, между тем как я, начинив свою голову параграфами немецкой мифологии Якова Гримма, представлял себе умилительную картину примирения германцев с славянами в идеальной апотеозе Асов и Ванов, из которых сложилось дружественное и родственное сонмище скандинавского Олимпа.

Но довольно об этом. Больше не стану утомлять вас разными подробностями о занимавшем меня вопросе. На моих глазах начиналась междоусобная война славянофилов с западниками, и я, не думая, не гадая, очутился между двумя враждебными лагерями, но, сыскав себе укромное местечко, спрятался в своей маленькой крепостце до поры до времени от выстрелов того и другого. <...>

